

---

Л. Новский<sup>1</sup>

## Воспоминания об А.Н. Островском

Прошло уже с лишком полгода, как Александр Николаевич сошел в могилу; мелкие подробности его жизни, незначительные черты личности понемногу стираются временем, скрадываются в прошедшем. Но тем ярче и выпуклее вырисовывается в памяти цельная личность, вся симпатичная и своеобразная, оригинально русская фигура покойного.

Попытаюсь, на основании личных впечатлений, очертить для читателя эту фигуру.

Внешняя обстановка дает иногда возможность понять склад ума и наметить основные черты характера человека. Поэтому войдем в кабинет, любимую комнату покойного. Александр Николаевич занимал нижний этаж дома кн. Голицына, против храма Спасителя. В том же доме имели квартиры И.С. Аксаков, С.А. Усов и Б.Н. Чичерин. Верх дома занят замечательным музеем кн. Голицына. Голицынскому дому, таким образом, принадлежит известное место в истории русской образованности. Александр Николаевич прожил в нем без малого девять лет после того, как должен был для удобства детей продать свой наследственный домик у Николы в Воробине в Серебреническом пер. близ Яузского моста и переехать поближе к гимназиям. Ни разу не менял он ни квартиры, ни первоначального распределения комнат.

Кабинет нашего драматурга была обширная высокая комната с двумя окнами в большой палисадник, с потолком, расписанным римскими сценами, старинной, очень хорошей работы. Светло-серые, мягкого тона обои. Две стены заняты ореховыми шкафами. За их стеклами можно разглядеть солидную драматическую библиотеку литератур отечественной и иностранных, образцы которых, в подлинниках и переводах, с любовью и знанием собирал покойный. Тут произведения всех западных сцен, всех веков и национальностей: греческие трагики в русском и Аристофан в латинском переводе; подлинники Плавт и Теренций, Кальдерон и Шекспир, Сервантес и Гоцци, Корнель и Метастазियो, Расин и Гольдони, Скриб и Мольер, все псевдоклассики, драматурги романтической школы, все или почти все новые французские драматурги, как Ожье, Сарду, Фелье, и многое другое, худое и хорошее, посредственное и глубокое. Русская, переводная и оригинальная драматургия представлена здесь как нельзя полнее, начиная с «действ» XVII века, продолжаясь «Российским феатром» и кончая последними новинками нашей сцены. Всего в библиотеке Александра Николаевича можно насчитать до трех тысяч названий. Отдельный шкаф ее занят критическими трудами, учеными исследованиями по истории и экзегетике сцены и литературных ее корифеев; собрание русских летописей, песен, сказок, пословиц и т. п. пополняет эту коллекцию «источников».

Две другие стены кабинета увешаны частой сетью фотографических портретов выдающихся артистов и артисток, живых и умерших, — все знаки признательности и воистину доброй памяти об Александре Николаевиче. В часы отдыха от умственной работы Александр Николаевич очень любил заниматься выпиливанием из дерева рамок, причем сам часто составлял рисунки для них с большим вкусом и оригинальностью. Целая стена его кабинета покрыта мелкими рамками, затейливо перевитыми разбегающимися по стене гирляндами плюща и лавровых листьев; все это задумано и собственноручно выпилено Александром Николаевичем из тонкого ясеня. У многих знакомых и друзей Александра Николаевича хранятся рамки, «ажурные» ящики и т. п. изящной его работы и замысла. Вернемся к портретам. <...> Портреты литераторов, товарищей Александра Николаевича, занимают не последнее место в этом домашнем пантеоне: здесь выступают главнейшие

---

<sup>1</sup> Л. Новский — псевдоним литератора Николая Николаевича Луженовского (1862–1889). Будучи товарищем М.А. Островского, сына драматурга, по университету, он в 1880-е годы часто бывал в доме Островских.

деятели сороковых — шестидесятых годов, за исключением Достоевского, с которым Александр Николаевич никогда не сходилась близко. <...>

В один из шкафов собирались Александром Николаевичем книги «от авторов»: полные собрания сочинений Гончарова, Григоровича, Данилевского, Л. Толстого, издания Н.В. Гербеля и мн. др. Мягкие диваны шли по стенам, занятым портретами. Кресла тяжелые, капитальные. Среди комнаты небольшой круглый стол; на нем симметрично разложены роскошные иллюстрированные издания, также дареные Александру Николаевичу: «История Петра Великого» Брикнера, «Альбом гравюр Серякова», виды московской выставки и пр. Станок для выпиливания, еще небольшой стол у стены. По окнам и в жардиньерках растения. Во всем порядок, чистота, устойчивый, хотя не роскошный, не бьющий в глаза, комфорт. В ширину кабинета, у окна, массивный, на объемистых тумбах, письменный стол. На нем в порядке расставлены принадлежности для письма и аккуратно разложены бумаги, прикрытые от посторонних взглядов газетными листами. То были большею частью театральные пьесы, во множестве присылавшиеся на просмотр и суждение Александру Николаевичу как председателю Общества драматических писателей и как знатоку сцены и радушному, одобрявшему дарование критику.

За этим-то столом, поместив в густой, медвежий ковер свои зябкие ноги, сидел обыкновенно за каким-нибудь делом Александр Николаевич. Я не знал уже его здоровым и бодрым. Последние пять лет он постоянно недомогал. Обычным домашним костюмом его — а выезжал он очень редко — была теплая, на меху или на вате, тужурка и мягкие спальные сапоги. Александр Николаевич обладал тучным, сырым телосложением; тучность эта развивалась у него от сидячей, всегда занятой жизни и наделяла его нездоровым, желтовато-серым цветом лица, подчас же сильными приливами крови к голове, опасным сердцебиением и некоторого рода удушьем. Порок сердца, соединенный с перехватом дыхания (*asthma cardiale*<sup>1</sup>) — наследственная болезнь Островских: отец Александра Николаевича умер также от этого и также был склонен задыхаться при малейшем волнении. Только в высшей степени аккуратная и умеренная жизнь Александра Николаевича за последние годы сохранила его для нас. Ему также вредны были всякие потрясения испуга, гнева и проч., как и различные излишества или чрезмерная усталь: в деревне, например, подъем, не особенно высокий и крутой, от реки к дому, совершенно измучивал Александра Николаевича, и он, обессиленный, садился на полдороге отдыхать на скамью. Равным образом малейшее волнение сейчас же заставляло его болезненно прижимать руки к сердцу, где он чувствовал какое-то давление, соединенное с приступами грудного удушья. Последние годы эти явления повторялись иногда и без внешней видимой причины и повторялись преимущественно по утрам, после боли в груди ночью. Ночной сон Александра Николаевича был слаб, чуток и непродолжителен: он редко ложился раньше двух часов, а в семь обыкновенно бывал уже на ногах. Выдавались и целые ночи бессонницы или спешной работы над новой пьесой. После таких ночей Александр Николаевич чувствовал обыкновенно себя крайне разбитым, жаловался, что «все болит», особенно же грудь и поясница; дневной послеобеденный сон плохо освежал его и редко восстанавливал к лучшему угрюмое расположение духа. По-моему, можно сказать утвердительно, что постоянная работа и связанная с нею сидячая жизнь, усиливая природную тучность тела Александра Николаевича, тем самым подготовили дурной исход неблагоприятно сложившихся наследственных данных.

Впрочем, тучность Александра Николаевича не бросалась в глаза: она значительно скрадывалась высоким ростом, пропорциональной шириной и плотностью всей фигуры. Александр Николаевич был выше среднего роста, с крупным, осанистым туловищем и очень широк в плечах, помещавших на полной, довольно высокой шее крупную ширококостную голову с большим выпуклым лбом и пропорционально развитым

<sup>1</sup> Сердечная астма (*лат.*).

черепом. Волос, рыжевато-белых, на голове было уже мало, когда я начал его знать; зато не особенно густая, но правильная плоская борода, изжелта-сероватой сединой обрамлявшая лицо драматурга, удивительно симпатично оттеняла черты этого лица выражением мягкого благодушия; небольшие, глубоко впалые глаза глядели в хорошую минуту добродушно-светло и ласково, слегка лукаво; когда же он бывал не в духе или нездоров, эти глаза тускнели и, полузакрытые веками, глубоко уходили в подглазницы; тогда все лицо старчески болезненно сморщивалось, и на тонких губах выступала не то немощная, не то скорбно-сатирическая складка, с какою он изображен на одном из лучших своих портретов последнего времени.

Александр Николаевич принадлежал к числу стойких натур, нелегко поддававшихся душевному недомоганию; он не скоро опускался и никогда не «раскисал», как говорится: никогда он не терял окончательно бодрости духа, способности к работе или к обдумыванию ее. До последнего момента он трудился, напрягая все силы, на пользу своей семьи и горячо любимых им драматической литературы и сцены. Это был, помимо таланта, образцовый труженик и неутомимый работник. На старости лет выучился он испанскому языку, с которого и перевел интермедии Сервантеса; его мечтой было перевести еще некоторые главы «Дон-Кихота», с народными сценами и поговорками. За день до смерти он продолжал свой «ученический» перевод «Антония и Клеопатры». Он говорил, что учится на этом переводе английскому языку и Шекспиру; сначала переводил он буквально, слово в слово; затем г. Ватсон, англичанин и знаток всех тонкостей шекспировского языка, пояснял Александру Николаевичу смысл каждого фигурального выражения; затем уже, после подробнейшего изучения и комментирования текста, причем призывались на помощь и лучшие критики Шекспира, — Александр Николаевич приступал к версировке перевода белыми стихами; он говорил, что выходит «слово в слово и гладко». Такую работу он, впрочем, называл отдыхом: «Все равно что чулки вязать». Покойное, ясное настроение духа, которым пользовался Александр Николаевич в часы подобных занятий, подтверждало эти слова. Во всех взглядах, суждениях, действиях, во всем нравственном облике Александра Николаевича никогда не сказывалось ни одной черты чего-либо мистического, отвлеченного, трансцендентного; никаких «умствований», ни малейшей склонности к теоретированию или, тем паче, к фразе; у него был ясный, трезвый взгляд, широкий и простой; склад ума чисто русский, можно сказать, народный, метко и глубоко понимавший истую, характерную сущность вещи... Александр Николаевич не любил много говорить и редко высказывался. Он, скорее, любил промолчать, любил больше послушать, чем говорить; с чисто великорусской «хитринкой» умел он, чуть-чуть пркщурясь, внимательно следить за нитью разгорающегося спора, оставаясь сам в стороне; и затем, разом войдя в разговор, метким и острым словом разрешить спорный вопрос, осветив его быстрой логикой ума, дав ему неожиданную и непредвиденно правдивую постановку. Но крутой оборот дела скрашивался такой благодушной улыбкой, таким симпатичным юмором, что всякий, даже потерпевший поражение, искренно присоединялся к мнению Александра Николаевича. Эта мягкость обращения, этот деликатный юмор спора, это благодушие нашего драматурга были причиной того знаменательного и редкого факта, что во все время своей с лишком сорокалетней литературной деятельности Александр Николаевич не имел ни одного крупного личного врага, ни одной мало-мальски серьезной личной неприятности от своих собратьев. Существовали литературные разногласия, принципиальная рознь между партиями; Александр Николаевич, держась одного воззрения (его можно назвать умеренным прогрессистом), не мог, разумеется, сойтись с вожаками противоположного; но никогда не доходило у него дело до личной неприязни. Ввиду царящей у нас литературной непорядочности, доходящей подчас до грубых выходов, задетых личностей и оскорбленных самолюбий, — нельзя не признать известной заслугой эту миролюбивую тактичность покойного.

Однако при всем внешнем радушии Александра Николаевича нельзя было назвать человеком экспансивным. Будучи коренным великороссом, он постоянно сохранял привычку «знать про себя», держать язык за зубами. Он был скорее скрытен, чем откровенен. Лишь пред немногими искренними друзьями он высказывался весь и вполне. В последнее время, за которое я знал Александра Николаевича, из этих друзей, кажется, никого не осталось. Ими были, главным образом, сотрудники «молодой редакции» «Москвитянина»... Писемский, Алмазов, Ап. Григорьев, Третий Филиппов, Сергей Колошин и др., а также выдающиеся сценические таланты, как Корн, Полтавцев, Мартынов, Пров Садовский, Ф.А. Бурдин, позже И.Ф. Горбунов и др. Мартынов умер даже на руках Александра Николаевича на обратном пути из Крыма; туда возил его Александр Николаевич по приговору врачей, думавших действием южного воздуха и винограда приостановить развитие скоротечной чахотки, следствия запоя, сгубившего этот колоссальный талант. С Пр. Садовским и Горбуновым Александр Николаевич совершал в конце пятидесятых годов путешествие за границу; Александр Николаевич любил вспоминать в своей семье это время, как, плывя по Рейну, они сообща импровизировали: «Вверх по батюшке, по Рейну, от Кобленца до Мангейму...» и т. д. Садовский не знал никакого языка, кроме русского; Александр Николаевич с большим юмором рассказывал о затруднениях, в какие попадал артист вследствие этого обстоятельства, и о находчивости Садовского, всегда успевавшего при помощи мимики выйти из трудного положения.

<...>

Основным требованием А. Н. Островского к литературному произведению было истинное, художественное, *вполне правдивое* воспроизведение жизни. Средство для такого воспроизведения «правды» — наблюдать, хорошо «знать» жизнь или изображаемое ее явление. Это правдиво, это верно, это живо, это «как есть» — вот похвала Александра Николаевича; это неверно, фальшиво, «нарочно» написано, — такими словами выражал он свое неодобрение. Он скорее прощал отсутствие таланта, чем сочиненность, придуманность, тенденцию.

<...>